

пытно и то, что этот документ сохранился в архиве Пушкина. Можно предполагать, что через посылаемых в Петербург крепостных Осиповой Пушкин хотел сблизиться со своими друзьями-декабристами, чтобы быть в курсе дела заговора и всех политических событий. Естественно сделать два вывода: Пушкин понимал всю серьезность момента и никого не хотел делать ответственным за свой план отправки разведчиков в Петербург, поэтому документ был написан собственноручно и, не использованный, остался у него на руках; свидетельствует этот документ и о том, что 29 ноября в Михайловском уже было известно о болезни, а может быть, и о смерти Александра I, если только дата 29 ноября не фиктивная.

Текст документа таков:

Билеть

Сей данъ села Тригорскаго людямя: Алексѣю Хохлову росту 2 арш. 4 вер. волосы темнорусыя, глаза голубыя бороду брѣть, лѣтъ 29, да Архипу Курочкину росту 2 ар. 3½ в. волосы светлорусыя, брови густыя глазомъ кривъ, рябъ лѣтъ 45, въ удостовѣреніе что они точно посланы отъ меня въ С.-Петербургъ по собственнымъ моимъ надобностямъ и потому прошу Господь командующихъ на заставахъ чинить имъ свободный пропускъ. сего 1825 года, Ноября 29 дня. Село Тригорское что въ Опоческомъ уѣздѣ.

Статская советница Прасковья Осипова.

Кончая словом «уѣздѣ» писано рукой Пушкина.

Павел Попов

II

„Мария Шонинг“ как этап историко-социального романа Пушкина

1

Среди загадок, столь щедро и столь прочно (ведь им уже столетие) рассыпанных в творчестве Пушкина, есть одна, разгадать которую особенно интересно и нужно в наше время. Не странно ли: Пушкин начинал писать повесть из жизни рабочих-ремесленников; герои этой повести: больной рабочий; девушка, «научившаяся ходить за больным»; бывшая служанка, торгующая рукоделиями; аукционный оценщик; бедняк-лекарь; трактирщик голого трактира; податные чиновники; несчастный инвалид с деревян-

ной ногой . . . Все «дрянь, ветошь, лохмотья» — как говорит одна из героинь.

Пушкин — певец «Руслана и Людмилы», разочарованных пленников, сладостных фонтанов; дэнди, поющий Дианы грудь, ланиты Флоры, — и вдруг «надбавки по грошам», «продажа спубличного торга», комната, из которой вынесено «все, кроме кровати и одного стула», «черное не вымытое после смерти белье» и героиня «без места», пишущая «стоя у окошка» и даже чернильницу занявшая у соседей! Потрясающая картина нищеты, муравьиной жизни маленьких несчастных людишек, перед которой на задний план отступают и зарисовка компаньонки старой графини, и спявшего с ума Евгения-чиновника

Конечно, Пушкин еще в Болдине звал взглянуть из окошка на «избушек ряд убогий», на мужичка, «несущего под мышкой гроб ребенка», но то был только момент помещицкой «скуки», пестрый и грязный сор фламандской школы, лишь восприятие умного художника. Подлинное, трагическое, острое, лично заинтересованное чувство бьется лишь у летописца российского Горюхина, да вот здесь, в этом прозаическом отрывке, так обидно оставшемся незаконченным Лицом к лицу думал Пушкин столкнуть читателя с подлинным реализмом «бледной нищеты», столь непонятно взятой на фоне немецкого быта Какой то гид завел в это общество — бедняков и почти умирающих на улице — шестисотлетнего дворянина, помещика, камер-юнкера (все-таки камер-юнкера!), первого поэта николаевской России

Такою явилась эта загадка, когда в изданном в пользу семьи покойного Пушкина его друзьями VIII томе «Современника» за 1837 год были напечатаны оставшиеся в рукописи куски незавершенного замысла под заглавием «Мария Шонинг». Комментариев дано не было. Ничего не сказали о новинке и критики-современники. За отсутствием материалов опасались высказываться и потомки. «Мария Шонинг» механически перепечатывалась в «Отрывках и набросках неоконченных повестей» с подзаголовком: (1830—1832)

Между тем какое-то полуобъяснение оставил в своих рукописях сам Пушкин. Это — листок бумаги с аккуратно, почти парадно переписанным на нем чернилами французским текстом, заключенным концовкой, и с заглавием: «Мария Шонинг и Анна Гарлин, судившиеся в 1787 г. в Нюрнберге». Далее следовала неведомая история, начинавшаяся, если ее перевести, так: «Мария Шонинг, дочь рабочего из Нюрнберга, лишилась отца 17 лет. Она ухаживала за больным одна, так как бедность заставила ее отослать единственную свою служанку Анну. . .»

Этот французский текст также был напечатан без всяких пояснений в «Современнике» и перепечатывался с некоторыми неточностями (так, например, пропускалось второе имя Марии — Элеонора) позже. П. В. Анненков в своем издании сказал по поводу этого текста: «Мы не знаем, откуда почерпнул его сам автор, не указавший книги или вообще сочинения при своей выписке» (V, 536). Некоторые последующие редакторы просто излагали этот текст собственными словами. В. Е. Якушкин, работая над пушкинскими рукописями, заметил, что повесть напечатана с неточностями, и отыскал новое письмо из переписки героинь и целую сцену. У последующих редакторов в заглавие французского текста вкралась опечатка — процесс оказался датированным 1778 годом, что сбивало с толку всех не видевших рукописи. С. А. Венгеров в своем издании внес еще поправки, но совсем выпустил французский текст, вероятно, с отводом в комментарий, осуществить который не удалось. В подправленном виде рядом с французским текстом является повесть еще и в издании «Красной нивы».

Так зажила эта загадочная повесть в соседстве с загадочным текстом. Редакторы повторяли: «В рукописи этому рассказу предшествует французский текст, послуживший для него программой и неизвестно откуда заимствованный» (П. О. Морозов). Оставалось как будто даже предположение, не оригинальный ли это текст Пушкина, не очередная ли его мистификация. И в последнем случае сторонникам «медленного чтения» Пушкина — все равно, исходят ли они из «гершензоновских» или «социологических» концепций (крайности сходятся) — соблазнителен был вывод: еще одна Мария у Пушкина.¹ Никакой отмычки, никаких «улик» не оставил Пушкин для разгадки уголовной нюрнбергской повести о присужденных к смертной казни за детоубийство женщин.

2

Французские, а за ними русские, читатели XVIII века в круг своего чтения для приятного и полезного времяпрепровождения включали обширную и занимательную отрасль литературы — разновидность и источник уголовного романа — собрания процессов. В читателях всех времен и всех стран жива любовь к авантюрной стороне уголовного романа. Нечто подобное отметил Пушкин в статье «О мнении Лобанова», сказав, что

¹ На «целый ряд других» Марий намекает, например, В. Рожницын в книге «Атеизм Пушкина» (стр. 40).

«страшные истории» всегда занимали любопытство не только детей, но и взрослых ребят; а рассказчики и стихотворцы истари пользовались этой склонностью души нашей». Это свойство жанра было прекрасно учтено собирателями и издателями уголовных процессов. Две разновидности жанра бросаются в глаза. Это — «Causes» и «Procés». Видное место и там и здесь занимают адюльтер и убийство во всех его видах — отцеубийство, детоубийство и проч. Особое место, естественно, уделяется пострадавшим невинно, ошибочно. Этот раздел был особенно модным со времен Вольтера. Его «заступление за семейство Коласа» (слова Пушкина) — наиболее памятный образец процесса в защиту невинно-наказанных. Ветвь жанра, которая должна была быть особенно интересной и для Пушкина.

По следам первого собирателя процессов как занимательной литературы, знаменитого Гайо де Питтаваля (Gayot de Pittaval, 1673—1743), «Causes» которого выходили в двадцати томах с 1734 по 1743 год, потом собирали «славные процессы»: Рихер (1718—1790), Этьен, Дезессар, Межан (1765—1823), Руссель и Пошэ де Валькур, Сент-Эдм, П. Лебрэн (1761—1810) и др. В двадцатых годах XIX века особенно часто стали появляться также собрания, включавшие в себя иностранные процессы, нередко пользующиеся аналогичными английскими собраниями (например «Remarkable trials and celebrated criminals», 1825).

Любитель старой книги — Пушкин любил рыться в подобной литературе. Уже по его заметкам о «Записках Самсона» и «Записках Видока», где он выказывает большую осведомленность в литературе, насыщающей «жестокое наше любопытство», уже по его интересу к «Железной Маске», можно с уверенностью сказать, что он должен был хорошо знать литературу процессов как политических, так и уголовных. В автобиографическом отрывке «Участь моя решена» Пушкин упоминает в качестве злободневной литературы новое Вальтер Скотта и Купера и уголовные газетные процессы. Библиотека поэта дает и конкретные факты. Мы находим в ней французские: «Процесс Людовика XVI, 1821 г. (№ 1286); «Прославленные уголовные дела XIX в.» (№ 715) — три разрезанных томика в издании 1827—1828 годов; «Знаменитые процессы, взятые из опыта всеобщей истории трибуналов как древних, так и новых народов», изд. XVIII века (№ 1287); «Знаменитые процессы» («Procés fameux») Дезессара, т. I, изд. 1836 г. (№ 870); «Полный процесс де ля Ронсиера», 1835 г. (№ 1285) и «Хроника Трибуналов, или избранные и наиболее интересные дела различных

стран Европы» (№ 740). Последняя книга куплена Пушкиным 17 июля 1836 года.¹

Очевидно, и до 1836 года книги этого рода были хорошо знакомы Пушкину, хотя в книгах, сохранившихся в его библиотеке, мы сейчас и не находим ничего подобного процессу Марии Шонинг. Близкое знакомство Пушкина с жанром делает, однако, не случайным и его обращение к книге, в которой мне удалось после длительных поисков найти, наконец, именно это дело. Это — восьмитомное издание «*Causes célèbres étrangères, publiées en France pour la première fois et traduites de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, etc. par une société de jurisconsultes et de gens de lettres, Paris. C. L. F. Panckoucke, MDCCCXXVII*».

Прежде чем перейти к делу Шонинг — несколько слов о самом издании, в котором оно напечатано. В предисловии (*avant propos de l'éditeur*) совершенно точно формулированы как жанровые особенности собрания, так и цель его и запросы читателей книг этого рода. Оно помогает уяснить смысл обращения Пушкина к книге. Цель издателя — собрать «документы равно драгоценные для историка, моралиста, государственного человека, юриста и просто людей из общества (*hommes du monde*)».

«Подобная работа, — замечает издатель, — не могла появиться при более благоприятных обстоятельствах». «Наши новые политические нравы придали у нас особую значительность изучению законодательства. Столбцы наших ежедневных журналов недостаточны, чтобы удовлетворить любопытство, которое будят подробности юридических дебатов. Наше новое собрание ответит одной из потребностей эпохи» (вспомним слова Пушкина: «Мы, живущие в веке признаний»). Таким образом полезность знания юриспруденции своего народа — это первое, чем обосновывается смысл издания, но, вместе с тем (как это видно из одного из примечаний), девиз издания: полезное приятным — оно рассчитано не на одних специалистов-адвокатов. Издатель отмечает также, что каждое дело связано или с политическими, или с религиозными установлениями, касается либо общественных, или частных нравов, прав, привилегий.

Все это, разумеется, прежде всего направляло этот жанр к писателю. Для последнего был и еще аргумент, быть может,

¹ Сюда же можно отнести купленную Пушкиным 29 мая 1836 г. «Небольшую хронику XVIII века» (№ 741). Принадлежность Пушкину № 870 внушает, впрочем, некоторые сомнения. Зато в «*Revue Etrangère*» 1832 г. (№ 1518), t. IV, p. 68, Пушкин знакомился с «Знаменитыми немецкими процессами».

важнейший, также сформулированный в книге, — то, что: «Каждая страсть здесь находит поочередно свое место, что трагические и комические ситуации этих драм естественны, что оригинальность характеров выражается здесь со всей свободой». Наконец издатель книги сам заявляет, что «Знаменитые процессы» были «во все времена богатым рудником для романистов и поэтов всех стран». Он вспоминает «Генриха VIII, Шекспира и знаменитого Вальтер Скотта, искавшего в судебных регистрах Шотландии сюжетов своих наиболее известных произведений». И тот и другой примеры должны были занять внимание Пушкина в период его собственных работ над историческим романом, скрещивающимся с мелодрамой. Быть может эти замечания и были начальными стимулами к внимательному чтению процессов. Уже в I томе (стр. XIII) среди обещанных процессов Ченчи, Галилея и других было намечено: «Наконец этот любопытнейший вопрос о детоубийстве, где видишь двух женщин Нюрнберга, вынужденных нищетой обдумывать преступление, которого они не совершили». Если эти строки попались на глаза Пушкину в I томе, он должен был искать этого процесса в дальнейших томах того же собрания.

3

Он нашел его во II томе, вышедшем в том же 1827 году, среди «новых и уже публиковавшихся» «Causes», по заявлению издателя, «всегда драматических». Между процессов, посвященных адюльтеру (Анна Болейн), пиратрии, колдовству, убийству, клевете, отказу платить незаконные налоги, имеется процесс с подзаголовком в оглавлении: «предполагаемое убийство» (*infanticide supposé*), занимающий стр. 200—213 и озаглавленный:

ДЕТОУБИЙСТВО

Процесс

Марии Шонинг

и

Анны Гарлин.

Нюрнберг, 1787.

Тексту предпослано следующее предисловие: «Процесс Марии Шонинг и Анны Гарлин, судившихся в Нюрнберге в 1787,

INFANTICIDE.

PROCÈS

DE

MARIA SCHONING

ET

D'ANNA HARLIN.

NUREMBERG, 1787.

LE procès de Maria Schoning et d'Anna Harlin, jugé à Nuremberg, en 1787, présente un exemple unique dans l'histoire de la jurisprudence criminelle. Deux femmes indignes s'accusent volontairement d'un crime qu'elles n'ont pas commis. Elles subissent la peine dont la loi frappe les meurtriers, et l'objet de ce dévouement est d'appeler sur les enfans de l'une d'elles les bienfaits que la charité publique accorde aux orphelins. Tel est le fond de cette cause vraiment extraordinaire. Les détails n'en sont pas moins bizarres que l'action principale; et la réunion des circonstances dont elle se compose est d'une nature telle, que si le témoignage du jurisconsulte qui nous l'empruntons ne méritait pas toute

ФАКСИМИЛЕ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ
«ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УБИЙСТВО»

notre confiance, nous n'aurions pas hésité à la regarder comme un jeu de son imagination, et à l'exclure de cet ouvrage.

ÉLÉONORE MARIA SCHONING était fille d'un ouvrier de Nuremberg. Elle avait reçu le jour au prix de l'existence de sa mère, et, à l'âge de dix-sept ans, elle suivit seule, en pleurant, un cercueil qui fut jeté dans la fosse commune. C'était le cercueil de son père.

Depuis l'âge de treize ans, Maria n'avait pas quitté le lit du vieux Schoning, que les atteintes de la goutte avaient privé de l'usage de ses membres. Deux ans avant sa mort, le vieillard avait été forcé de renvoyer une servante que la modicité de ses ressources ne lui permettait plus de garder : sa fille resta seule chargée des travaux du ménage. Elle puisa dans son amour pour son père un courage qui semblait au dessus de son sexe ; les soins les plus pénibles n'inspiraient aucune répugnance à sa tendresse : elle humectait elle-même les jambes du malade, gonflées et roidies par la souffrance ; et quoique sa santé, naturellement délicate, fût encore affaiblie par une vie constamment sédentaire, elle trouvait assez de force pour soulever dans ses bras le vieillard souffrant, le replacer sur son lit, et lui prodiguer tous les soins qu'exigeaient sa situation et sa maladie.

C'est ainsi que s'écoulèrent les premières années de sa vie. Elle avait vécu en présence de la douleur : étrangère aux amusemens de la jeunesse, à ses espérances, à ses illusions, son caractère contracta l'habitude d'une résignation qui ressemblait à de la tristesse.

Les dernières paroles que son père adressa à l'ecclésiastique chargé de lui donner les secours de la religion, furent un témoignage de reconnaissance et d'admiration pour le dévouement et les vertus de sa fille.

представляет единственный пример в истории криминальной юриспруденции. Две нищие женщины добровольно обвиняют себя в преступлении, которого они не совершили. Они подвергаются наказанию, которым закон поражает убийц, и цель этого самоотвержения — призвать на детей одной из них благоденствия, которые общественная благотворительность воздает сиротам. Такова суть этого дела, поистине необычайного. Детали же менее странны, чем само дело; и совокупность обстоятельств, из которых оно состоит, такова, что, если бы свидетельство юрисконсульта, у которого мы его заимствуем, не заслуживало бы всецело нашего доверия, мы не колебались бы рассматривать это дело как игру его воображения и исключить его из этой работы».

Таким образом мы еще ближе продвигаемся к уяснению вопроса о том, почему заинтересовался процессом Пушкин — это «единственный пример» в истории криминалистики; это дело «поистине необычайное», настолько, что если бы не авторитетное свидетельство юриста (кстати, так и не названного), оно могло бы казаться «игрой воображения». Все эти обстоятельства сами по себе, конечно, уже могли занять воображение поэта, любящего таинственные моменты истории (ведь история, по Пушкину, «принадлежит поэту»), могли толкнуть его к внимательному чтению процесса, в котором он и нашел интересный для художника материал. Что же делал Пушкин с этим материалом? ..

Процесс начинается так: «Элеонора-Мария Шонинг была дочерью нюрнбергского рабочего.¹ Она появилась на свет ценой жизни своей матери, и на 17 году осталась одна, оплакивая гроб, опущенный в общественную могилу. То был гроб ее отца». Уже на этих первых фразах, если сравнить их с французским текстом, написанным рукою Пушкина, виден смысл и метод его работы.² Где-то встретившись с процессом и заинтересовавшись им, Пушкин начал с того, что стал конспектировать его по-французски же. В дальнейшем я говорю поэтому о пушкинском конспекте и о фрагментах начатой Пушкиным уже по-русски, собственной его повести. Обратимся прежде всего к французскому конспекту. Имя «Элеонора» выпущено (Пушкин

¹ Пушкин сохраняет во французском своем конспекте именно слово *ouvrier*, в то время как понятие «ремесленник» определяется им через *artisan* (например, в плане «драмы о папессе Иоанне»).

² В ряду отличий пушкинского французского текста от оригинала отмечу употребление Пушкиным старого окончания *imparfait* на *-oit*, что было для него вообще характерным (ср. Б В Т о м а ш е в с к и й, «Французская орфография Пушкина в письмах к Хитрову»).

употребил его далее),¹ кудрявые фразы о судьбе родителей героини, конечно, не нужны Пушкину. Ему нужны факты, костяк сюжета; их он сохраняет бережно. Конспект словно говорит: остальное дополнит сам художник. Если во французском тексте источника подчеркнуть фразы, целиком сохраненные Пушкиным в его французском конспекте, то с удивительной наглядностью предстанет метод пушкинской работы над документом — сохранены целиком все события, выделена и снята вся фабула; все же, что можно опустить без ущерба для хода действия, — отброшено. Каждая фраза пушкинского конспекта либо воспроизводит бук в а л ь н о, либо с легкой перефразировкой текст подлинника. Следует, однако, отметить, что в своем французском конспекте Пушкин подчас дает и собственные синонимы. Так, например, в оригинале: *l'a enseveli* (зарыла ее), у Пушкина — *l'enterra*.

Ни одного собственного фабульного элемента в конспект Пушкиным не внесено. Манера конспекта, сухая и точная, невольно приводит на мысль деловые и воздержанные конспекты-планы собственных вещей поэта. И здесь смысл его конспекта также может быть исчерпан двумя словами, любимыми Пушкиным: точность и краткость. Сентиментально-размазанные детали, метафоры, амплификации — все это чуждо, все это мешает интересному сюжету, ядро которого нужно вышелушить. Это и делает Пушкин.

Второе, что должно быть отмечено: кое-что, отброшенное Пушкиным в конспекте, однако, сохранилось в памяти — детали, не существенные для конспекта, были использованы, если представляли бытовую или психологическую ценность уже в самой пушкинской повести. Если особо подчеркнуть такие места, их получается довольно много. Так, например, из указания «дела», что Мария «поднимала на своих руках страдающего старика», Пушкин дает в повести: «Я должна была поворачивать его с боку на бок». Возьмем такое место: «Последние слова, которые ее отец обратил к священнику, приглашенному к нему для религиозного подкрепления, были свидетельством признания и восхищения самоотвержением и добродетелью дочери. «В продолжение долгого и горестного испытания болезни моей, — сказал старик с волнением, — Мария, добрая моя Мария, вела себя как ангел. Попечения, наименее подходящие ее возрасту, и полу, ничего не стоили для любви ее; никогда не видел я в ее чертах

¹ Впервые восстановлено Ю. Г. Оксманом в изд. сочинений Пушкина «Красной нивы»

самого легкого чувства отвращения. Каждый раз как взгляды мои встречались с ее взглядами, я был уверен, что увижу в ее глазах слезу сожаления, или на губах ее улыбку сочувствия. Господь наградит ее за ее повиновение и ласку; это заветнейшее желание ее умирающего отца!»

На основании этого места Пушкин дает в повести: «Он стал искать около себя, схватил меня за руку и сказал: «Марья, Марья, мне очень дурно — я умираю... дай, благословлю тебя поскорее». Я бросилась на колени и положила его руку себе на голову — рука вдруг отяжелела. Он сказал: «Господь, награди ее; господь! тебе ее поручаю». Он замолк».

Если «процесс» дает сухие фразы: «Мария, поглощенная горем, долго оплакивала на могиле старого Шонинга гибель своего отца, единственного друга, единственную связь, приковывавшую ее к существованию», и в другом месте: «Она бросилась на еще зыбкую землю, покрывавшую могилу», Пушкин (вовсе не отмечая этого в конспекте) в повести дает картину именно этого места, когда дочери хочется разрыть могилу, потому что она еще «не совсем простилась» с отцом. Таково же и место о приходе податных чиновников. Из фразы: «По смерти старика немного денег осталось его дочери» Пушкин делает конкретную фразу: «У меня всего на расход осталось 23 талера».

Остановлюсь на наиболее значительных местах, не нашедших себе отражения в пушкинском конспекте (попали ли бы эти места в повесть, сказать невозможно, так как именно здесь повесть брошена).

В конспекте Пушкин записал только: «Вечером она пошла на кладбище св. Иакова. — Она шла оттуда утром, затем, умирая от голода, снова вернулась на кладбище». Из-за этой лаконичности конспекта читателям пушкинских фрагментов до сих пор оставалось неясным, почему Мария далее хочет утопиться в реке. Между тем оригинал дает все разъясняющий центральный в рассказе эпизод — сцену изнасилования Марии незнакомцем на кладбище:

«На восходе солнца неповинная девушка ушла с поспешностью преступницы, страшась дневного света. Она укрывалась в испуге от взглядов прохожих, которые начали просыпаться в аллеях; она достигла одних из ворот города, пошла улицей предместья и спряталась за колючей изгородью, насаженной вокруг сада, здесь она плакала над несчастьем своего положения. Вечер застиг ее на том же месте, муки голода дали знать о себе среди душевных страданий; она вышла в улицы Нюрнберга. Но слишком робкая, чтобы протянуть прохожему

умоляющую руку, слишком невинная, чтобы возыметь мысль поддержать существование посредством преступления, она шла долгое время без намерения, без цели, и оказалась вторично около могилы своего отца, когда последние тона сумерек терялись на горизонте.

Кладбища в большинстве городов Германии не менее страшны для нравов, чем для общественного здоровья: их примитивный характер, столь уважаемый и столь торжественный, более не существует; местная религия исчезла со страхами, которые она внушала, и сквозь мрак и тишь гробниц блуждают существа гораздо более страшные, чем те фантастические духи, которые среди ночи устрашали легковерие наших предков. Именно на могиле своего отца Мария сделалась жертвой скотского осквернения. Изнуренная слезами, бессонницей, холодом и голодом, она не понимала зла, пока не стала его жертвой.

Человек, воспользовавшийся ее невинностью, покинул ее в неподвижности остоленения; и в ее руку, сжимаемую конвульсивным движением, он вложил монету (*demi-dollar*).

Угрызения совести не коснулись бы души Марии, но были внушены преступным деянием, предшествуемым преступной волей; она их испытывала во всей их горечи, и предалась ужаснейшему приступу отчаяния; дрожа, она отбросила далеко от себя монету, которую продолжала держать ее рука, как будто бы то была постыдная плата за добровольное распутство. Бессонница, голод, мысль о своей беде (*faute*) и сцепление несчастий, испытанных со смерти отца, произвели страшное влияние на ее ослабевший рассудок. Бред лихорадки жег ее мозг: ей казалось — она слышит негодующий голос отца, приказывающий бежать прочь от него (*de sa présence*); и она тайком вышла с кладбища, как будто ее преследовала угрожающая тень.

Она бегом пересекала пустые улицы, по которым человек, злоупотребивший ее слабостью, шел, быть может, вслед спокойным шагом, чтобы дойти до места, где ждали его отдых и безопасность, когда она встретила с дозорными людьми и была схвачена».

Следующая фраза: «Нюрнбергская полиция выдает полкроны ночным сторожам за каждую женщину, задержанную на улице после 10 ч. вечера» — возвращает нас вновь к пушкинскому конспекту, дословно повторяясь в нем. Пушкиным упомянут в конспекте и допрос в кордегардии, но опущены фразы о том, что Марию «подвергли всяческому издевательствам» (*railleries*) солдат. В оригинале имеется такая картина: «Чиновник, к которому

она была приведена на другой день поутру, начал допрос такими оскорбительными выражениями, которые уважающий себя человек никогда не бросит даже наиболее порочным и низким существам. Отвратительный допрос вернул дочь Шонинга к сознанию ее добродетельности; она отражала с негодованием бесчестящие расспросы, когда воспоминание о ее вине (*sa faute*) отняло у нее и голос и энергию. Ей показалось, что смерть подошла наложить на ее сердце свою ледяную руку; она упала без движенья к ногам чиновника, и только после многочасового обморока удалось вернуть ее к жизни... Судья казался растроганным, однако его жалость ограничилась возвратом молодой девушке свободы». Так, в оригинале становится мотивированным желание Марии кончить жизнь самоубийством, оставшееся до сих пор неясным, непонятным в конспекте Пушкина, где просто сохранены слова оригинала: «Мария приняла внезапное решение броситься в речку Пегниц». Здесь опущен Пушкиным еще следующий пассаж: «Ее помутившееся воображение говорило ей, что в другом мире она бросится к ногам своего отца и что он не откажется принять ее оправдание. Она поспешно проходила пригород, который подводил к реке...» Далее Пушкин только кратко отметил встречу Марии с Анной Гарлин, в подлиннике «бросившей службу у Шонинга». Анна утешает свою бывшую госпожу-подругу, заставляет ее отказаться «от ее ужасного замысла». Слова ее буквально воспроизведены в пушкинском конспекте, но далее Пушкин опустил самую характеристику Анны, а, конспектируя нищую жизнь приятельниц, переставил факты. Впрочем, совершенно точно сохранено Пушкиным следующее место (обычно неверно печатаемое издателями) о болезни Марии. Вместо фраз подлинника: «Анна заболела («*A. tomba malade*»¹); постоянная и тяжелая работа, пища плохая или недостаточная, постепенно подточили ее силы» подлинник дает далее более подробно картину нищеты и попыток Марии «заслужить собственным трудом хлеб своих благодетелей». В дальнейшем конспект Пушкина следует за важнейшими фактами рассказа, но сокращенность пушкинской записи до сих пор делала ее неясной в том месте, где Пушкин указал, что ушедшую из дома Марию, вновь захваченную обходом, хотят высечь. Здесь было

¹ Все издания сочинений Пушкина, включая самые последние, неправильно печатают: «*Elle tomba*», что создает ложное отнесение фразы к Марии, вместо Анны.

непонятно, почему же вдруг «Мария вскричала, что она виновна в детоубийстве». Между тем подлинник после картины голода детей Анны дает следующую мотивировку поступков Марии Шонинг. «Смушенная сама неизъяснимым порывом, она возымела мысль погубить свою душу, чтобы спасти свою подругу. Воспоминание о монете, которую бесчестная рука оставила в ее руке в вечер, когда она была обесчещена, воскресло в ее воображении; отрешившись от этого чувства ужаса, которое оно внушало ей до сегодняшнего дня, Мария вдруг встает, отгаливая прочь девочку Гарлин, и устремляется прочь из дома.

Ночь была холодна и темна; ветер, дувший с силой, гнал дождь, смешанный со снегом, затопляя своими ледяными водами улицы Нюрнберга. Мария была внезапно задержана на дозорном патруле (*une patrouille du guet*); капитан, командовавший им, был тот самый, который задержал ее год тому назад; он окружил ее отрядом (*il la place au mileu de sa troupe*); отвел ее в кордегардию и сказал ей, что к ней следует применить завтра утром наказание, которым законы протестантского германского государства карают бесчестие (*a la honte de la pudeur*) женщин-бродяг. В это мгновение помутившееся воображение пленницы подсказало ей внезапно новое средство осуществить свой план: «Я виновна, виновна в ужасном преступлении, в детоубийстве, — закричала она с силой, — отведите меня к судье». В приведенном отрывке я подчеркнул слова, сохраненные Пушкиным, — как видим это опять-таки лишь фактическая сторона эпизода. Признание Марии у судьи дано Пушкиным близко, но в пересказе (в подлиннике: «*qu'elle a été délivrée d'un enfant par les secours de la femme Harlin*», у Пушкина: «*elle déclara avoir été accouchée par la femme Harlin*»). Здесь же Пушкин употребляет — говоря о том, что Мария якобы зарыла ребенка в лесу, — другой французский глагол с тем же значением (*avoit enterré* вместо *l'a enseveli*).

В сцене очной ставки Марии с все отрицающей Антой, не понимающей мотивов подруги, Мария в оригинале хочет покончить самоубийством, видя, что подругу хотят пытать из-за нее. Пушкин дословно сохранил лишь ее просьбу к Анне признаться, сохранив и имена детей Анны: Франк и Нани.¹ Дога-

¹ В обработке повести имя девочки заменено иным (Миша). В черновике Пушкин называет Марию «Анхен»; фрау Ротберх первоначально названа «Рудгоф». Очевидно все имена повести еще не были окончательно выяснены, как и само заглавие.

давшаяся, наконец, Анна, в подлиннике, придумывает новую версию: «Ребенок не был зарыт в лесу, но брошен в Пегниц». Подчеркнутые слова, видимо, по торопливости были пропущены Пушкиным, чем и объясняется невязка его текста в этом месте.

В сцене казни обеих женщин Пушкин кратко отметил состояние казнимых словами: «Анна была спокойна. Мария волновалась». Оригинал дает: «Гарлин поднялась на роковую колесницу, не выказывая ни малейшего волнения. Подведенная к месту казни, она увидела, не бледнея, орудие своей смерти и с твердостью поднялась по ступенькам эшафота. Дрожащие губы Марии, бледность, покрывавшая ее лицо, выдавали волнение, ею испытываемое; совесть упрекала ее за убийство ее благодетельницы; она была готова открыть истину; но когда подошла к подножию эшафота, силы ее оставили вдруг; она осталась недвижимой и словно лишенной жизни». У Пушкина Анна говорит: «Еще минута, и мы будем там», причем это «там» Пушкин вынужден был пояснить в скобках (*au ciel*). В оригинале этого пояснения не нужно, так как была еще опущенная Пушкиным фраза: «повернула к ней голову и сказала ей, указывая на небо: «Еще несколько минут и мы будем там!» — Пушкин здесь исправил невязку, получившуюся в его конспекте от пропуска этой фразы.

В оригинале Мария замедляет казнь Анны также более подробным, чем у Пушкина, признанием: «что обвинение, с которым она обратилась в трибунал, — ложное обвинение; что у нее никогда не было ребенка; что еще менее она кого-нибудь убивала; что она желает умереть и что умрет с радостью, если спасут ее подругу и освободят ее душу от ужасных укоров в убийстве благодетельницы».

Кстати, в оригинале Гарлин отвечает палачу на его вопросы, есть ли правда в рассказе Марии, с заметным отвращением (*avec une répugnance marquée*). Пушкин в своем конспекте сохранил это слово «отвращение», но в скобках добавил от себя: «простотою» (*simplicité*). Этим словечком Пушкин единственный раз нарушил свой объективный нейтралитет эпического пересказывателя событий, показав свое отношение к поступку Гарлин — его тронула именно простота ее ответа.

Несколько подробней, чем у Пушкина, самый конец оригинала. Казнив Анну по повелению суда и несмотря на сочувствие ей народа, палач падает в обморок. Тогда: «Велели его подручному занять его место, но это было уже не нужно: Марии уже не было. Ее тело оказалось столь холодным, словно

она умерла уже несколько часов тому назад. Цветок был сорван бурей, прежде чем лезвие косы скосило его стебель». Такова опущенная Пушкиным концовка процесса-повести.

4

Мы можем, наконец, дать ответ на вопрос — что же сделал Пушкин с найденным им материалом. Он набросал по-французски же его конспект, опустив всё тормозящее действие, всё сентиментальное, религиозное и дидактическое, всё метафорическое, мешающее высокой и строгой *simplicité*.

Так, например, ясно, отчего отбросил он концовку. Может быть сложнее обстояло дело с выпуском сцены с насильником на кладбище. Она вряд ли нужна была для пушкинской фавулы, не внося в нее нового и, наоборот, несколько затемняя центральный образ героини. Притом же нет оснований думать, что Пушкин взялся бы за художественное осуществление этой натуралистической сцены. Аристократическое дворянское русское общество не находило еще художественных форм, творческих прецедентов для изображения подобного невольного падения героини. Эта ситуация могла притти лишь гораздо позже; тема насилия над обнищавшей героиней заняла писателя лишь в эпоху новых общественных отношений, во времена Некрасова, Достоевского, Толстого, с появлением анализа переживаний «падшей женщины» вообще (от Сонечки Мармеладовой до Катюши Масловой). Быть может даже психологическая затруднительность дать образ этого рода и прервала пушкинский замысел — ведь его обработка этого сюжета как раз и брошена на месте, где мог бы разыгаться подобный эпизод.

Как бы то ни было — перед Пушкиным предносилась уже тема и этого рода, в его многожанровой картинной галерее было оставлено место и для «уголовного» и «нищего» полотна, для «низшего» жанра, чуждого феодально-дворянскому быту и стилю. И, конечно, не случайно, что к сюжету этого рода обратился Пушкин именно в тридцатые годы, когда остро ощущаем был собственный кризис, когда собственное дворянское обнищание открыло двери к впечатлениям совсем непривычного рода. Стоя на границе разорения, в долгах, в драматический момент своего бытия, Пушкин как бы заглянул еще ниже в то, что открывалось ему впервые уже не как сентиментально-полубарский романс его юности о крепостной деве, держащей в руках «тайный плод любви несчастной», но как живая натуралистическая бездна. Конечно, сам немецко-фран-

цузский рассказ о Марии и Анне, несмотря на драматический пафос отдельных мест, еще крайне сентиментален, примитивен и носит следы наивно-мелодраматического стиля. Как показывает пушкинский конспект — все эти черты писатель думал обойти; его «Бедная Мария» ни в коей мере не могла повторять сентиментальной житийности «Бедной Лизы», но налет уголовной мелодрамы, видимо, должен был остаться в центре его внимания. И эта мелодрама была насквозь социальной, сближающей ее с последующим романом XIX века. Недаром тема была поставлена дуновением Великой французской революции. Год процесса (1787!) объясняет постановку ряда острых социальных вопросов, которые интересовали Пушкина, вновь всплывая в эпоху новой буржуазной революции 1830 года. Что это за вопросы? Нищета, рост цен, социальные корни проституции, освящение казни духовенством. Эти вопросы четко стояли перед Пушкиным, когда он задумывался над этой вещью. Священник и палач в конспекте Пушкина связаны неразрывно («вопросы священника и палача»), как и феодально-буржуазный суд с его отказами просителям, ночными обходами, поркой женщин, орудиями пыток и молитвами перед казнью. Темы этого рода и в других положениях интересовали Пушкина в «Полтаве» и в «Сценах из рыцарских времен». Существенно, что в тридцатых годах Пушкин остро интересовался мелодрамой. Она чувствуется ведь и в «Дубровском» и в «Пиковой Даме», где она неизменно скреплялась с линией исторического романа.

Не имея возможности точно датировать «Марию Шонниг»,¹ можно, однако, сказать, что повесть была одновременной либо с «Дубровским», либо с «Капитанской Дочкой». Это несомненно — эпоха обращений Пушкина к историко-социальному роману, для которого особое значение играет документация. Все эти годы Пушкин в погоне за исторической верностью ищет документа.

«Капитанская Дочка» документирована в «Истории Пугачева», сюжет «Дубровского» в некоторой мере прикреплен к подлинному «судебному делу». И это не случайно. Исторический роман в одной из своих линий легко пересекается с ро-

¹ Писана на бумаге частью 1832 года, частью с водяным знаком «А. Гончаров, 1834», с лиственной рамкой вокруг листа. Быть может имеющаяся в рукописи хронология писем («25 апр.», «28 апр.» имеет связь с реальными датами. Интонационно письма героинь напоминают тон переписки Пушкина с женой весной 1834 года (17, 19, 28 апреля, начало мая).

маном криминальным. Это случается там, где исторический документ в то же время является и документом юридическим. Вальтер Скотт сочетал в себе юриста и историка. Его романы изобилуют сценами суда и образами юристов. «Гей Меннеринг» (1815) основан на старом судейском деле; на уголовных легендах построены «Ламмермурская невеста», «Кенильворт» и «Эдинбургская темница». Мелодрамные романы — они и служили для переделок мелодраме. На два из них ссылается французский издатель процесса Марии Шонинг.¹ Сцены суда в «Дубровском» и суда в «Капитанской Дочке» представляют такую же органическую часть историко-социального романа Пушкина, как сцены суда в «Уоверли», или других романах Вальтер Скотта.

От этого в рамках одного и того же жанра часто отслаивались и аналогичные сюжетные ситуации. В самом деле, французский издатель дела Марии Шонинг, упомянув об обращениях Вальтер Скотта к судебным процессам, лишний раз мог стимулировать Пушкина на его собственном пути. Пушкин в своем проекте обработки процесса Шонинг, видимо, хотел сделать аналогичную попытку, увидел в «деле» ценнейший, выходящий за пределы права историко-юридического документа, материал для социальной повести. Ему открывался фон — немецкий городской быт конца XVIII века, сильная драматическая ситуация — невинно осужденных героинь, своею самоотверженною «простотою» столь близких пушкинскому женскому типу; давались и нравы и черты местного колорита и картины разорения, становящиеся понятно-близкими самому Пушкину.

Интересуясь Вальтер Скоттом, судьбами и методом его романа, Пушкин имел перед глазами и литературный прецедент обработки процессуального документа совершенно того же порядка — тот роман, с которым, как это впоследствии неоднократно указывалось по другим поводам, он был особенно близко знаком, — «The Heart of Mid-Lothian» (1818) Вальтер Скотта. Напомню, что завязка этого романа также построена на заинтересовавшей Пушкина проблеме мнимого детоубийства. В предисловии 1830 года к этому роману Вальтер Скотт рассказывает о прототипе своей героини Дженни Дийнс — некоей Елене Уолкер: она «была поражена сильным горем, когда вдруг узнала, что сестра ее обвиняется в детоубийстве (for child murder), причем сама она должна явиться главной сви-

¹ Специальные сочинения по уголовному праву нередко делают ссылки на романы Вальтер Скотта. Ср., например, S. P. G a n s, «Von dem Verbrechen des Kindesmordes», Hannover, 1824, S. 311.

детельницею в этом деле». На уговоры адвоката Елена отвечала: «Я не могу ложно присягать, и, каковы бы ни были последствия, скажу все лишь по чистой совести. На суде ее сестра признана была виновною и приговорена к смерти». Елена, пользуясь временем до приведения в исполнение приговора, ночью пешком отправляется в Лондон, чтобы вымолить сестре прощение. Последние положения романа Скотта, как известно, не раз сопоставлялись с «Капитанской Дочкой».

Материал сюжетов как у Скотта, так и у Пушкина был дан жизнью одной и той же эпохи и кажется должен был быть вмещен в рамках одного и того же жанра. Скотт осуществил свою тему в духе либеральной гуманности; видимо, так же должна была быть окрашена и повесть Пушкина. Скотт в XI примечании к XV главе романа («Детоубийство») указывает случаи, «когда при подозрениях ребенка вовсе не нашли»: «многие женщины были казнены в то столетие на основании этого строгого закона... который теперь заменен изгнанием в тех случаях, за которые прежде наказывали смертью. Это изменение последовало в 1803 году».

Вальтер Скотт дает тип обольстителя девушки, заставляет читателя возмущаться тем, что главный пункт обвинения героини «опирается именно на сокрытие якобы ею своей беременности» (конец главы V). Гуманный юрист — Вальтер Скотт в тонах яркой сатиры нападает устами простолюдинов на юридическую затхлую ученость и тупомыслие феодально-государственного аппарата, на мертвую букву закона, карающего живых, неповинных людей:

«...Ее повесят; хотя она, быть может, родила мертвого ребенка.

— Без всякого сомнения, — подтвердил Сэдльтри. — Таков смысл закона, изданного государством для предупреждения подобного рода преступлений, которые, между нами будь сказано, вызваны мерами того же государства.

— В таком случае, если закон вызывает преступления, закон должен и отвечать за них, — воскликнула миссис Сэдльтри; то есть, другими словами, следует повесить всех представителей такого закона!» (гл. V).

Эта же мысль повторена в сцене суда (гл. XXIII) защитником, говорящим о законе, пресекающем детоубийство.

Идея пушкинской повести — несомненно аналогичный протест как против социальных противоречий, так и против «закона несправедливого, ужасного». Можно бы еще добавить, что и в своей переделке шекспировской «Мера за меру» —

«Анджело» Пушкин разрабатывал в 1833 году близкую тему о жестоком законе и казни и, повидимому, почти в тот же период, что был занят «Мариєю Шонинг».¹

5

У нас нет никаких данных для решения вопроса о том, было ли написано продолжение «Марии Шонинг», и, если нет, мы не знаем, вернулся ли бы Пушкин, вообще, к этому сюжету. Быть может помешали условия жизни, или увлечение новым уже задуманным романом, в котором Пушкину легче было на более близком материале развернуть художественную обработку интересовавших его проблем. . .

Только оставшиеся отрывки да литературные образцы позволяют высказывать вышеприведенные догадки. Необходимо, однако, отметить, что как ни близко использовал Пушкин в этих отрывках имевшийся у него конспект процесса, он уже и в них показал те стилистические устремления, в которые повесть должна была отлиться. Это, во-первых, колебания между эпистолярным жанром и описательным повествованием, это, во-вторых, введение в фабулу совершенно оригинальных эпизодов. Часть романа, во всяком случае, предносилась Пушкину как переписка обеих героинь, позволяющая видеть вещи в двойном свете и, может быть, в дальнейшем развернуть два индивидуальных диалогических стиля. Это был последний возврат Пушкина к жанру ричардсоновского, буржуазного «романа в письмах».

С другой стороны, Пушкиным уже на первых же шагах внесена в сюжет масса оригинальных деталей. Пушкин не только видит «деревянную ногу» инвалида, не только индивидуализирует детей Анны и намек на образ врача развивает в образ «Г-на лекаря Кельца», который, быть может, должен был играть роль и дальше, — но и вводит эпизодические лица, символизирующие мещанство: Гирца, Каролину Шмидт, фрау Ротберх, на которых в тексте процесса нет и намека. Кроме всего этого Пушкин дает оригинальную сцену продажи с аукциона имущества старого Шонинга. Обработка этой сцены заставляет вспомнить другой роман Вальтера Скотта — «Гей Меннеринга» (1815), где несколько глав (XVII—XVIII), написанных также в форме переписки двух подруг, почти смежны с главами (XIII—XIV),² дающими картину аукциона разорившихся

¹ Кстати, у Вальтера Скотта в «Эдинбургской темнице» «Мера за меру» также всплыла в эпиграфе к XXV главе.

² Русский перевод Владимира Броневского, 1824, ч. 1, стр. 218—246.

героев (отца и дочери). Самый выбор этой темы столь психологически понятен для Пушкина, занятого мыслью о разорении аристократических родов (в 1832 году и сам Пушкин, как известно, закладывал имущество и думал о деньгах; в 1833 году писал: «Заботы жизни мешают мне скучать»). И выбранная тема вновь сближает Пушкина с его любимым шотландским романистом. Вот, поражающая своим реализмом, картина аукциона (the sale) у Вальтер Скотта: «Одни выбирали, что купить, другие просто глазели из любопытства. Подобная сцена даже и при лучших обстоятельствах всегда печальна. Беспорядок мебели, сдвинутой с обычного места, чтобы покупатели могли ее видеть со всех сторон, неприятен для глаз. Вещи, на своем месте казавшиеся хорошими, теперь принимают какой-то жалкий вид; комнаты, лишённые всего, что составляло их украшение и удобство, походят на развалины. Грустно, когда семейная домашняя жизнь открыта любопытству зевак и черни; грустно слышать их грубые расчёты и плоские шутки над чуждыми им привычками и предметами комфорта».

Эта картина «совершенного разорения древнего и почтенного рода», столь близкая Пушкину, хотя бы в его настроениях, сказавшихся в «Дубровском», легко нашла себе развитие и в «Марии Шонинг», где сцена аукциона словно осуществляет эту «программу»: «Покупщики осматривали с хулой и любопытством вещи, выставленные на торг» и т. д. Мотив перехода дорогих портретов¹ к чужим людям перекликается с подобным же в сцене разорения в «Дубровском». Сцена же смерти старика, увидевшего виновника своего разорения, прямо перенесена Пушкиным из «Г. Меннеринга» в «Дубровского».

Подвожу итоги: «Мария Шонинг» — не случайное обращение Пушкина к сюжету из немецкой истории; черты социального протеста сделали для него это произведение близким. «Мария Шонинг» — естественная попытка, естественный этап на пути пушкинского историко-социального романа в период собственного социального шатания. «Мария Шонинг» в теме разорения имеет также соприкосновения с «Дубровским» и прозаическими отрывками. Темою поведения на суде невинного героя — жертвы объективных обстоятельств — «Мария Шонинг» приближается к «Капитанской Дочке». Но, занимая, так сказать, логическое место на пути пушкинской повести, «Мария Шонинг»,

¹ В рукописи Пушкина: «два портретика в рамах, некогда вызолоченных, замаранных мухами» — это место печатается неверно во всех изданиях сочинений Пушкина, включая последние издания «Красной нивы» и ГИХЛа

вместе с тем, совершенно индивидуальна по своему основному заданию, продиктованному материалом, — жизнь рабочего, остро поставленный вопрос о социальных ненормальностях феодально-дворянского строя, картины нужды, доводящей женщину до мысли о проституции, обличение мерзости мужчины — таков круг тем, витавших перед Пушкиным и уже начавших осуществляться писателем.

Но как закономерно обречены на неудачу попытки пушкинской «светской» повести, так не смогла быть осуществленной и эта тема последующей эпохи. «Мария Шонинг» показывает, до какой «низкой» с точки зрения дворянина грани тематики, до каких «подлых» стилистических струй оказалось возможным снизиться (возвыситься — скажем мы) Пушкину. В тридцатые годы на мольберте художника полотно, имя которому — «Бедные люди».

В этом — значение незамеченных историей литературы отрывков, известных под заглавием «Мария Шонинг».

Д Якубович

III

Исчезнувшая рукопись Пушкина

«Вот Вам, любезный Барон, пир во время чумы из Вильсоновой трагедии à effet», — писал Пушкин бар. Е. Ф. Розену в середине октября — середине ноября 1831 года,¹ прилагая при письме рукопись своей трагедии для напечатания ее в альманахе Розена «Альциона на 1832 год», где она и была впервые опубликована на стр. 19—32 (цензурное разрешение альманаха помечено 20 ноября 1831 года), под заглавием «Пир во время чумы (из Вильсоновой трагедии: The city of the plague)» В настоящее время ни одной рукописи «Пира во время чумы»

¹ Это письмо впервые опубликовано М А Цявловским с подробным комментарием в журнале «Культура театра» 1921, № 5, стр 30—31, по несправной копии П И Бартенева, а затем перепечатано с оригинала из альбома Е А Драшусовой в книге М А Цявловского «Письма Пушкина и к Пушкину», М 1925, стр 16 и 44 Печатаемая рукопись, М А Цявловский отнес его к июлю — первой половине ноября 1831 г (Царское Село? Петербург?) по содержанию и связи его с письмом Розена к Пушкину 27 июня 1831 г (см «Переписка Пушкина», т II, стр 260—262) Мы уточняем дату письма по сопоставлению его с письмом Пушкина к А Х Бенкендорфу от второй половины октября 1831 г и ответного письма Бенкендорфа 19 октября 1831 г (см *ibid*, стр 335—337)

З В Е Н Ь Я

СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ
ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ XIX ВЕКА.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧА,
Л. Б. КАМЕНЕВА И А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

III—IV

А С А Д Е М І А
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1 9 3 4